

Экран имени -
2005 - окт (~29-30) -
915

откуда доносились примерно такие крики: "Сыграй благородный гнев! Ты что, русского языка не понимаешь? Гнев! Благородный! Ну что ты мнешься! Господи, что за мямли в наших школах!"

Из двери, как ошпаренные выскакивали не-получившиеся капитаны с красными пятнами позора на щеках. Существо по имени "помреж" рисовалось мне чем-то мохнатым, всклокоченным, огромным, с черным дымом из пасти. Когда я открыл дверь с ручкой, влажной от вспотевших ладоней кандидатов, я увидел комнату, показавшуюся мне сначала пустой, и только потом я заметил крошечного человечка с галстуком, съехавшим набок, сидящего на краю стола. Глаза у него были безумные, безнадёжные. Казалось, он вот-вот упадет со стола и уже никогда не встанет, настолько он измотанно выглядел. "Ну... - сказал он с тихим отчаянием, даже не глядя на меня. Я, утрашающее выпучив глаза, что было сил, заорал стихотворение Суркова: "Горе вам, матери Одера, Эльбы и Рейна..." Он изумленно поднял на меня глаза, и в некотором страхе отодвинулся от меня подальше. Потом он изнуренно простонал: "Мальчик, а ты не помнишь чего-нибудь попроще? Ну, скажем, басню..." "Я не люблю басен..." - ответил я твердо, настроившись на "благородный гнев". "Иди, мальчик, иди... - почти умоляюще прошептал он. Твой гнев слишком благороден. Ты меня пугаешь, мальчик". Пятнадцатилетнего капитана потом сыграл Сева Ларионов, ставший потом известным актером.

Ровно через тридцать лет мне позвонили со студии "Мосфильм" "Говорит помреж Чикирева..." При слове помреж во мне сразу воскресло воспоминание о моем бесславном поражении. "Савва КУЛИШ снимает фильм о Циолковском. Хотите попробовать?" "Но я совсем непохож на Циолковского..." - сказал я Чикиревой. "А вот и неправда..." - сказала Чикирева. Мой муж - гример нашей группы. Недавно мы смотрели по телевизору вечер советской поэзии и когда вы читали "Ярмарку в Симбирске", мы в один голос сказали: "Это же Циолковский... Приходите завтра..." Я принял это не особенно всерьез, но все же пришел. И тут в гримерной произошла встреча, которая заставила меня, что называется, "предельно мобилизоваться". Рядом со мной в гримерной оказался бывший "пятнадцатилетний капитан" Всеволод Ларионов, на лацкане которого был депутатский значок из реквизита. Судя по его виду, он играл какого-то секретаря какого-то Обкома или министра СССР. Он узнал меня как поэта Евтушенко, но не как своего давнего незадачливого соперника. Снова потерял поражение в присутствии Севы я уже не мог.

Под руками Михаила Сергеевича Чикирева рождалось мое другое лицо. Из зеркала на меня взглянул совсем другой человек. Он еще не был Циолковским, но уже не был мной. Вошел Савва - как бы случайно. У нас были с ним самые теплые отношения лет двадцать, и ему было психологически трудно "пробовать" меня. Не зря Галина Даниловна звонила мне от своего имени, а не от имени режиссера. Специфический кинотракт. В актерской среде после неудачных проб бывают не только личные обиды, но и глубокие неизлечимые травмы. Но Кулиш не выдержал роли случайного посетителя - он изумленно вглядывался в мое новое лицо, и в глазах его сверкнули жадные профессиональные огоньки. От наигранной индифферентности не осталось и следа. "На фотопробу, - сказал он быстро и жестко. - А завтра будем репетировать".

Но завтра репетиции не было - была лекция. Живая, сбивчивая, многослойная. Кулиш впервые рассказал мне не сценарий, а того человека, чье лицо мне предложила неожиданность. А я-то думал, что знал Циолковского!

Передо мной предстал великий, пронзительный, хотя в чем-то наивный, мыслитель, ученик философа-идеалиста Н.Федорова, который мечтал воскресить наших далеких предков, и вообще даровать людям бессмертие. А ведь еще недавно, когда на Съезде Писателей в 1954 году Довженко говорил о том, что отец космонавта, теряя своего сына в космосе, будет страдать, а не "преодолевать страдания", многие в зале смеялись, а ведь в это время уже готовились к полету в космос. Но как сыграть Циолковского - человека, который гораздо выше меня самого? "Не играй, - говорил Кулиш. Будь самим собой". Легко сказать - быть самим собой. Кроме того, я сам - это еще не Циолковский. Может быть, режиссер был не прав? Нет, прав. Быть собой - это означает избавиться от всего наносного, выволочь из самого себя только все лучшее". Мне не надо, чтобы ты произносил слова Циолковского, мне надо, чтобы ты думал их" - резко вколачивал в меня Савва. Нет, прикосновение к другой, любимой личности и даже саморазрушение в ней никогда не потеря, а обретение самого себя. Чем дальше от себя, забытого, тем ближе к себе истинному.

Савва преподавал мне многие незабываемые уроки. Но ему нравилось, когда я протестовал и боролся с ним. Так, например, я придумал несколько мелко нарезанных сцен - "сны Циолковского" после того, как устающая иногда от стольких необычайностей своего мужа, его жена со вздохом говорит ему: "Костя, ну неужели хоть иногда, для разнообразия, ты не можешь быть, как все?!" В этих сценах Циолковский играет в карты с лощеными напыщенными партнерами, пьет сомнительное шампанское в не менее сомнительном заведении, увешанный гроздьями провинциальных жриц любви, пытающихся "раскошегарить" слишком потустороннего мечтателя, отплясывает в зале дворянского собрания мазурку, произносит помпезную официальную речь на посмертном открытии своего собственного памятника... Но увы! - эту "нарезку из снов Циолковского" чьи-то заботливые руки начали сокращать и сокращать, пока они начисто не исчезли из фильма. Впрочем, может, быть сам Савва не был до конца уверен в этих кадрах, и я с ним до сих пор иногда мысленно спорю, как спорю сам с собой о некоторых - увы! - невырезанных мной кадрах из моих первых двух авторских фильмов. Впрочем, фильм ожидали и более серьезные неприятности. Госкино решительно воспротивилось ряду совершенно невыбрасываемых по законам элементарной композиции кусков - не хотели, чтоб царский жандарм рубил при обыске глобус шашкой, чтобы Циолковский не говорил своей дочери во время ее ареста: "Я, Любаша, никогда не мог поверить в социальные революции...", чтобы Циолковский не говорил о бессмертии, прыгая между крестов на кладбище, чтобы не появлялись черносотенцы, издающиеся над учениками Циолковского. Требовали все это выкромсать из фильма. Тогда я пошел на веселую авантюру - я быстренько написал стихотворение "Финал", где точечно поперечислил все вышепоименованные эпизоды, и напечатал это стихотворение не где-нибудь, а в органе ЦК КПСС "Советская культура". Затем я принес эту газету в Госкино и торжествующе шлепнул ее на стол Ф.Ермаша. Он покряхтел, а потом постарался обратить все в шутку: "Ну, раз все апробировано органом ЦК КПСС, я как член ЦК обязан подчиняться...". "Глобус шашкой при обыске рубит солдат/развалив его от Кордильер до Карпат. /А другой протыкает подушку штыком, перед обыском, перекрестившись тайком/Циолковский от горя и от стыда/опускает глаза, его руки трясутся: "Я, Любаша, поверить не мог никогда/в социальные революции..." и так далее. Фильм почти получил первую премию Московского кинофестиваля - он понравился таким иностранным гостям, как Габриэль Гарсия Маркес, Франческо Роззи, Франсис Коппола, но как чистосердечно признался в своих мемуарах Андрон Кончаловский, братья Михалковы, увезя некоторых именитых членов жюри к себе на дачу, на Николину гору сделали все, чтобы этого не случилось. Если даже фильм и не заслуживал премии, по их мнению, такие методы по-моему не очень хорошо говорят о совсем не аристократических манерах этих двух наследников дворянского гнезда, бесомненно талантливых режиссеров. Будучи членом жюри Венецианского фестиваля, я тем не менее сделал все, чтобы второй фестивальный приз - Гран При на нем получил Кончаловский по той простой причине, что его фильм "Дом дураков" был объективно лучшим в том подборе после ирландского фильма "Сестры Магдалины". По моему, Савва поступил бы именно так, а не иначе - это тоже один из усвоенных мной у него уроков. Лучший фильм Саввы Кулиша - это классика советского романтизма, парадоксально существовавшего в параллельном мире с циничной животностью номенклатуры. Однако начальство восстало против сценарного замысла Кулиша снять советского разведчика, когда он видит убийство Джона Кеннеди по телевизору, с неконтролируемыми слезами на глазах, а вовсе не с мыслями о классовой борьбе. Но сохранившаяся в фильме идеологическая и поведенческая нестандартность героя в замечательном исполнении Баниониса и сделала этот фильм столь любимым нашим народом. Савва терпеть не мог бездарных карьеристов и спекулянтов от искусства, но особенно брезгливо относился к людям талантливым, у которых дар Божий смешан с опасным дьяволовым даром - перешагнуть через мораль, через других людей, лишь бы заграбастать славу, деньги, власть. Савва останется примером безупречной чистоты и порядочности, без которой у России, и у ее искусства не может быть достойного будущего.

Евгений Евтушенко
Венсант

Евгений ЕВТУШЕНКО

Многие из шестидесятников, и я в том числе, могли бы в ранней юности подписаться под стихами Саввы Кулиша:

Я не согрею своим светом.

Я слишком молод, слишком мал.

Я просто пробная ракета.

Я в небо сам себя послал.

Мы все состояли из почти невозможных надежд, из почти смешных амбиций, и из болезненно скрываемых сомнений в себе. Поодиночке мы были одиноки, но, оглядываясь, мы находили самих себя во многих других, и делались сильнее, заряжаясь друг от друга энергией и так необходимой для нас всех неуверенной, но тем более драгоценной уверенностью. Мы находили друзей-единомышленников внутри своих будущих профессий, но потом в совсем других профессиях (физики-лирики) и чувство братства разрасталось, и мы сами росли в глубину и высоту. Шестидесятничество - это не возрастная категория, а многовозрастная первая беспартийная партия перестройки, в которой родилось все лучшее, что состоялось в перестройке. Зрители фильмов "Летят журавли", "Обыкновенного фашизма", "Дома, в котором я живу", "Дела Румянцева", "Девять дней одного года", "Берегись автомобиля", "Заставы Ильича", "Мне двадцать лет", "Андрея Рублева", "Мертвого сезона" становились уже другими людьми, и в них назревала необходимость перемен. Потом, прикинувшись демократами, во власть вползли хищники, ставшие перестройщиками перестройки, опоганили ее, опощили, растлили. Савва был не из тех, кто с готовностью тоже опощился, превратился в хватательное всепожирающее животное. Ему, как другим чистым людям, стало нелегко, но грязь к нему не приставала - есть люди с такой грязеотталкивающей совестью. В один из наших первых разговоров где-то в хинкином ресторане какая-то шпана начала задирать меня и оскорблять. Их было много, а нас только двое, но я никогда не забуду, как Савва бросился на них с суковатой тростью и они сразу потукнулись. Он не был драчуном, но у него всегда была готовность броситься в драку за кого-нибудь оскорбленного. Мой путь к Савве Кулишу был не так прост.

Старые, но не стареющие строки Симонова:

Тринадцать лет.

Кино в Рязани.

Тапер с измученной душой

и на заштопанном экране

страдания женщины чужой.

...Я мог, как могут лишь мальчишки,

из зала прыгнуть в полотно.

Да, мы все это умели в детстве. Мог ли я тогда представить, что это когда-нибудь удастся мне не в воображении, а на самом деле?

Году, кажется, в сорок шестом я прочел объявление, что нужны мальчишки для главной роли в фильме "Пятнадцатилетний капитан". Наутро вместо школы я отправился в киностудию. Длинная очередь юных кандидатов в капитаны с восторгом и ужасом смотрела на обитую дерматином дверь с надписью: "Помреж",